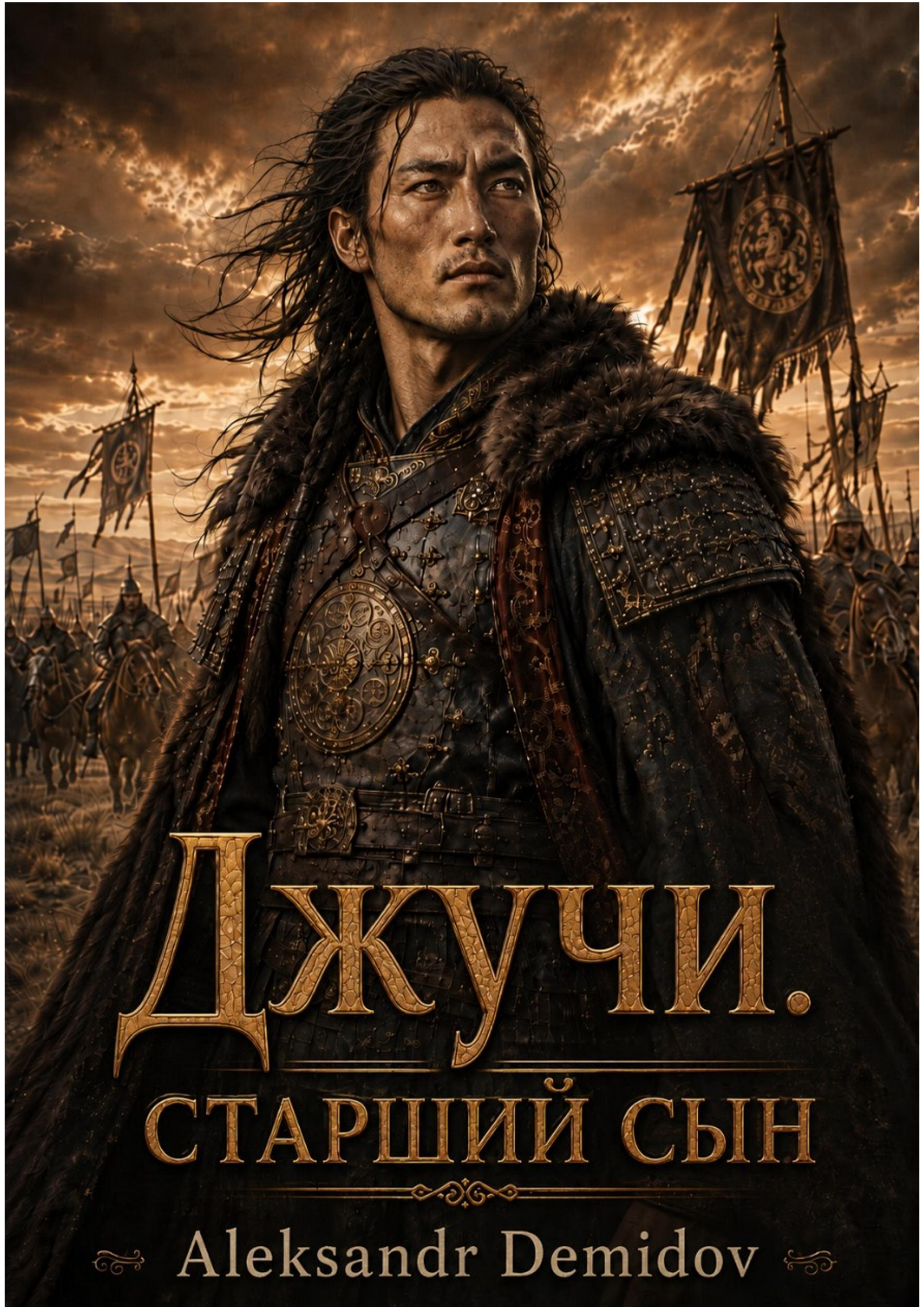




ДЖУЧИ.

СТАРШИЙ СЫН

≈ Aleksandr Demidov ≈

Aleksandr Demidov

Джучи. Старший сын

«Автор»

2026

Demidov A.

Джучи. Старший сын / А. Demidov — «Автор», 2026

Он — старший сын Чингисхана, полководец и наследник великой империи. Но всю жизнь рядом с именем Джучи существует вопрос, который никто не решается произнести вслух. Его мать Бортэ вернулась из меркитского плена незадолго до его рождения — и сомнение в происхождении постепенно становится оружием в борьбе между братьями. Джучи умеет завоёвывать земли иначе: не только силой, но расчётом, договором и умением сохранить покорённое. Однако чем больше становится империя, тем глубже раскол между ним и отцом. «Джучи. Старший сын» — исторический роман о власти и наследии, отцах и сыновьях, праве на своё имя и о том, как живая человеческая судьба превращается в несколько строк летописи.

© Demidov A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая	5
Приказ	6
Ойраты	9
Тумат	11
Соколы	14
Возвращение	17
Тишина	19
Мать	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Aleksandr Demidov

Джучи. Старший сын

Часть первая

ЛЕС

1

Приказ

Джучи смотрел, как объезжают трёхлетка.

Дело было к полудню, на выгоне за ставкой, где земля уже подсохла и держала. Коня водили на длинном поводу по кругу, и он шёл боком, поджимаясь, косил лиловым глазом на человека в середине круга и всё не давал закинуть на себя попону. Попону кидали, он сбрасывал. Кидали опять.

Джучи стоял поодаль, у коновязи, и не вмешивался. Конь был не его, и человек в кругу был хороший, знал дело. Просто смотреть на это было лучше, чем не смотреть, — в объездке был порядок, который Джучи любил: зверю дают понять медленно, не силой, что теперь будет так, а не иначе, и зверь понимает не сразу, и упирается, и всё равно понимает.

Он мог бы взять этого коня в час. Он умел объезжать быстро — жёстко, через испуг, так что зверь ломался и слушался к вечеру. Но такие потом всю жизнь вздрагивали от руки, а этот, которого водили по кругу три дня, будет ходить спокойно двадцать лет.

Это стоило трёх дней. Почти всё, что стоило иметь, стоило времени, и Джучи знал это про себя как первое из того, что знал.

За ним пришли, когда попону наконец приняли.

Пришёл нукер из отцовых, молодой, запыхавшийся, и сказал, что каан зовёт. Джучи оторвался от коновязи не сразу — досмотрел, как затягивают подпругу и как конь, обмякнув, стоит, — и пошёл.

По дороге он думал, что коня всё-таки объездили, и это было приятно, как бывает приятно чужое хорошо сделанное дело.

Он ещё не знал, зачем зовут, и не гадал. Гадать он не любил.

* * *

Отец сидел в большом шатре, и с ним было четверо: двое старых, из первого круга, и двое писцов у входа, на свету.

Джучи вошёл, поклонился и стал, где положено.

Отец был не в духе — не сердит, а занят, что было хуже сердитого: сердитого можно переждать, занятого нет. Перед ним на кошме лежала растянутая кожа, и по коже шли значки — реки, он узнал сразу, реки и хребты, только все на север, куда он не ходил.

— Пойдёшь на лесных, — сказал отец, не поздоровавшись, потому что здоровался редко и не с сыновьями. — Сюда.

Он повёл пальцем по коже — от знакомого верхнего края, где кончалась степь, вверх, в незнакомое: одна река, другая, озеро, за озером ещё река.

— Ойраты. За ними — те, кто у воды, эти без счёта, мелкими родами. Дальше киргизы, эти сильные, этих последними. Возьмёшь всех.

Джучи смотрел на кожу.

Он смотрел и считал — не то, что говорилось, а то, что не говорилось: сколько это вёрст, и сколько родов, и что ни один из них не выйдет в поле, потому что в лесу в поле не выходят, а сидят по чащам, и что конница там не идёт.

— Один? — спросил он.

Он спросил без обиды, дела ради: одному давали не всегда, и от этого зависело, как считать людей.

— Один, — сказал отец. — Братья при мне. На закат пойдём, ты после нагонишь.

Джучи кивнул.

Что-то в нём отметило это спокойно и деловито, как отмечало всё: на закат — это большое, туда идут вместе, туда идут братья, а его — на полночь, в лес, отдельно. Он отметил это

и отложил, потому что в ту пору ещё не разбирал таких вещей — они лежали в нём непрочитанными, как значки на коже для того, кто не умеет.

Он думал только о деле.

— В лесу конному худо, — сказал он. — Мне нужны те, кто там ходил. Проводники. Из здешних, кто торговал с лесными или воевал.

Один из старых, у стены, шевельнулся.

— Найдём, — сказал отец. — Ещё что.

— Кузнецов возьму больше обычного. Там всё вязнет, ковать придётся на месте.

— Бери.

— И не спешить мне велишь или спешить?

Отец поднял на него глаза.

Это был правильный вопрос, и отец это увидел, и в том, как он посмотрел, на короткое было одобрение — то самое, ради которого стоило спрашивать правильные вопросы.

— Не спеши, — сказал отец. — Мне их надо взятыми, а не битыми. Битых я и сам возьму. Ты приведи так, чтобы держались.

— Возьму так, — сказал Джучи.

— Знаю, что так, — сказал отец и отвернулся к коже.

Это значило, что можно идти, и это было много. «Знаю, что так» отец говорил не всем.

* * *

Собирались долго, почти месяц: искали проводников, ковали, гнали заводных.

Проводников привели семерых — угрюмых, немолодых, из тех, кто когда-то жил у леса и ушёл в степь. Они смотрели на войско без страха и без почтения и говорили мало. Джучи сажал их перед собой по одному и расспрашивал про воду, про тропы, про то, где какой род и кто с кем в ссоре, — и слушал внимательно, и запоминал, потому что человек, который знает, где ссора, экономит тебе тысячу человек.

Чагатай пришёл проводить накануне.

Он пришёл сам, чего мог не делать, — младшие братья не обязаны провожать старших, — и стоял, глядя, как выючат.

— На соболей идёшь, — сказал он. — Привезёшь мне соболю доху, ты ж богатым вернёшься. Лес — это мех.

Он сказал это хорошо, без зависти, весело. Чагатай был крепкий, коренастый, на четыре года моложе, и в нём была ровная сила, которая нравилась людям: он не заносился и не гнулся, и слово держал.

— Привезу, — сказал Джучи.

— Белого привези. Белый соболь есть у киргизов, мне говорили.

— Если есть — привезу белого.

Чагатай усмехнулся, хлопнул его по плечу — коротко, дружески — и пошёл к своим.

Джучи стоял и смотрел ему вслед, и на душе было хорошо и легко.

Он вспоминал этот разговор потом много раз, годы спустя, — не выискивая в нём ничего, а просто потому, что он был последним, который был вот такой: без второго дна, без счёта, без того, чтобы ловить в чужих словах чужое. Брат попросил соболю доху. Он обещал. Всё.

Тогда он ещё умел слышать слова как слова.

Наутро вышли на север, и степь за три перехода стала другой: пошли перелески, потом лес встал стеной, и проводники поехали вперёд, а войско — за ними, вытягиваясь по тропе в долгую цепь, какой Джучи прежде не водил.

Он ехал и был спокоен и весел.

Ему было двадцать пять лет, отец сказал «знаю, что так», брат просил соболя, и впереди лежало дело, которое он умел делать, — большое, чистое, своё.

Ойраты

Лес не воюют.

Это Джучи понял на четвёртый день, когда войско встало.

Оно встало не от врага — от места. Тропа, по которой шли, привела к болоту, болото обходили полдня, а обойдя, потеряли тропу, и проводник, ехавший впереди, слез с коня и пошёл пешком, глядя под ноги, и войско встало за ним, тысяча за тысячей, вытянувшись назад на версту, и стояло, пока он искал.

Джучи сидел в седле и смотрел на спины деревьев.

В степи он знал, где враг. Враг в степи — это пыль на окоёме, это дозор, который не вернулся, это то, что видно за день. Здесь видно было на тридцать шагов. За тридцать шагов стоял мох, и стволы, и темно, и в этой темноте могло не быть никого, а могло сидеть племя, и он не узнал бы, пока не подойдёт вплотную.

Конница здесь не стояла ничего.

Он думал об этом спокойно, как думал обо всём, но под спокойствием шевелилось непривычное: он вёл двадцать тысяч человек в место, где двадцать тысяч были не сильнее двадцати. Сила осталась в степи. Здесь работало другое, и этого другого у него не было, а было у семерых угрюмых стариков, которые ехали впереди и глядели под ноги.

— Долго так? — спросил он старшего проводника вечером, у костра.

Тот подумал.

— До ойратов — восемь ден. Если по воде пустят.

— А не пустят?

— Пустят, — сказал проводник. — Им драться незачем.

— Почему?

Старик посмотрел на него, как смотрят на того, кто спросил очевидное.

— Богатому драться незачем, — сказал он. — Ойрат богат. У него соболев, у него кедр, у него бабы. Ему воевать — только терять. Он проведёт вас к киргизам и рад будет, что мимо прошли.

Джучи запомнил это.

Он запомнил не про ойратов даже, а про то, как старик это сказал: без хитрости, как о погоде. Богатому драться незачем. В степи было не так — в степи и богатый дрался, потому что богатство в степи угоняли, оно ходило на ногах. А здесь оно росло на месте, и его нельзя было угнать, и оттого его хозяин был спокоен и уступчив. Другой мир, с другими правилами, и правила эти надо было узнавать заново, как ребёнку.

Ему это не было унижительно. Ему это было интересно.

* * *

Ойраты вышли навстречу на девятый день.

Вышел сам Кудука-беки — немолодой, широкий, в мехах, с десятком родовичей, безоружный. Он не бежал и не прятался. Он стоял на тропе, там, где лес расступался к воде, и ждал, и по тому, как он ждал, было видно, что он знал о войске давно — знал с того дня, как оно вошло в лес, и все восемь дней вёл его к себе через своих людей, невидимо, тропа за тропой.

Джучи это оценил сразу.

Их пропустили. Всё это время их вели — и могли не вести, могли путать, заводить в болота, растягивать восемь дней в тридцать. Не стали. Кудука решил всё в тот день, когда войско вошло, и восемь дней просто исполнял решённое.

Так решает сильный, подумал Джучи. Не тот, у кого много людей, — тот, кто считает вперёд и не тратит на спор того, что спором не берётся.

Он спешился первым, чего мог не делать.

— Кудука-беки, — сказал он через толмача. — Я Джучи, старший сын кагана. Ты вышел без оружия.

— Мне нечем с тобой воевать, — сказал Кудука ровно, — и незачем. Ты идёшь на киргизов. Я проведу тебя короткой водой и дам людей, которые знают проходы. Возьми мою землю под руку кагана и оставь мне мою воду и мой лес.

Он не унижался. Он говорил как человек, который посчитал и предлагает сделку, где обоим прибыль.

Джучи слушал и понимал, что всё уже решено — не им, а этим стариком, восемь дней назад, — и что решено разумно, и что спорить не с чем.

— Проведёшь до киргизов, — сказал он. — Дашь проводников. Сына дашь мне в ставку.

Он сказал про сына не как условие даже — как то, что само собой при таком деле. Так делали: брали сына знатного в ставку, ко двору, и это была честь и залог разом, и все понимали, что это, и никто не звал это заложником вслух.

Кудука наклонил голову.

— Дам двух, — сказал он. — Старшего к тебе, младшего к кагану. Породнимся.

Это было больше, чем Джучи спросил. Кудука не отдавал сына — он предлагал родство, а родство надёжнее залога: заложника берут силой, роднятся по воле, и то, что по воле, держит крепче.

Опять сильный ход, подумал Джучи. Он всё время на полшага впереди меня, этот старик в мехах.

— Породнимся, — сказал он.

* * *

Дальше пошло, как обещал Кудука: короткой водой.

Их повели на долблёных лодках и плотами по рекам, которых Джучи не знал и запомнить не мог, — вода вела на север сама, и войско, спешенное, с конями на поводу вплавь у бортов, шло по ней вдвое быстрее, чем шло бы посуху. Проводники-ойраты знали каждый перекал.

Джучи сидел в головной лодке и смотрел на воду.

Он думал о том, что не потерял ни одного человека. Ни одного — за реку, где он мог положить тысячу, идя вслепую по болотам. Кудука провёл его так, что не пришлось воевать вовсе, и это была лучшая война — та, которой не было, — и вёл её не Джучи, а старик, который решил не драться.

Он мог бы взять эту землю иначе. Прийти, пожечь, поставить головы на кол, согнать роды силой. Вышло бы дольше, дороже и хуже: разорённая земля не даёт соболя, битый народ не даёт воинов, а мёртвый проводник не покажет короткой воды.

Он этого не сделал, и получил всё, и не потерял ничего.

Возьмёшь так, чтобы держались.

Возьму так, отец. Смотри, как беру.

Он был доволен собой — ровно, глубоко, без хвастовства. Это было то самое довольство хорошо сделанным делом, которое он знал по объездке коней: медленно, без крови, так, что зверь потом ходит двадцать лет.

Тумат

Один род не вышел.

Про него сказал Кудука — сам, не дожидаясь вопроса, когда сдавал проводников и землю. Есть, сказал, за дальним хребтом, у чёрной воды, род, который не выйдет. Малый род, лесной, живёт глухо, чужих не пускает. Он и мне не кланялся, сказал Кудука, я его не трогал, потому что не стоил он того, чтобы за ним лезть.

— А мне? — спросил Джучи.

Кудука посмотрел на него.

— Тебе решать, — сказал он. — Каган велел взять всех. Этот — всех или не всех?

Джучи понял, что старик спрашивает не зря.

Кудука проверил, какой он. Взять миром лёгких, а трудного оставить — это одно, это слабость, и лесные это увидят и запомнят: пришёл большой, взял, кто сам дался, а до кого лезть — не полез. А пойти за одним малым родом в глушь, за хребет, положить людей ради тех, кого и Кудука не тронул за ненадобностью, — это другое.

— Всех, — сказал Джучи. — Каган сказал всех.

Кудука наклонил голову. Одобрения в этом не было и осуждения не было — он просто отметил ответ и убрал.

— Тогда дам проводника, — сказал он. — Но своих не дам. Мои туда не пойдут. Туда пойдёшь ты со своими.

* * *

Шли пять дней, и последние два — там, где не ходило войско.

Тропа кончилась на третий день. Дальше проводник вёл по приметам, которых Джучи не видел: по затёсам, по мху, по камню, — и войско растянулось так, что головы не видели хвоста, и шло по одному, ведя коней, и кони калечились на корнях.

Джучи шёл вместе со всеми и считал потери, которых ещё не было.

Он понимал уже, что был неправ.

Не в том, что пошёл, — пойти было надо, Кудука верно поставил вопрос. Неправ был в том, как шёл: он повёл сюда тумен, привыкший к простору, туда, где нужны были две сотни лёгких, пеших, лесных. Он взял силой то, что берут сноровкой. Здесь его двадцать тысяч были не силой, а обузой — их надо было кормить, вести, беречь, и каждый день в этой глуши стоил дороже, чем взятая земля.

Он бы сделал теперь иначе. Он уже знал как.

Но войско шло, и повернуть было нельзя — повернуть значило уйти битым от тех, кто и не вышел, и это увидела бы вся лесная земля.

Он загнал себя в это сам, одним словом «всех», и теперь тащил тумен через бурелом, чтобы слово оправдать.

* * *

Род сидел на острове.

Не на настоящем острове — на гриве среди топей, куда вела одна гать, и гать эту они разобрали, увидев войско. За топью, за голыми осенними лозами, стояли их дома — низкие, крытые корой, и над ними шёл дым, и было тихо. Ни стрелы, ни крика. Они смотрели через воду и ждали, и по тому, как ждали, было видно, что драться будут.

Джучи стоял на кромке топи и смотрел на дым.

Взять было можно. Навести гать под стрелами, потерять на переправе людей — немного, десятков пять, — войти и кончить. Пять десятков за малый лесной род, который и Кудука не тронул.

Он стоял и считал, и счёт был плохой с любой стороны.

Отойти — нельзя: он уже здесь, его видят. Взять миром — не выйдет: гать они разобрали, послов не примут, это видно по тому, как стоят. Взять силой — пять десятков своих за то, что ничего не стоит.

И тогда он сделал то, что делал в степи, когда враг сидел в укреплённом и лез на переправу глупо.

Он не полез.

Он отвёл войско от воды — назад, в лес, из виду, — и оставил у гати заслон, и стал ждать. Не осаждать: осадить остров в топях нельзя, обложить нечем. Просто ждать, встав на всех тропах, какие показал проводник, — на воде, на волоках, на путях, которыми род кормился.

Лес богат, но с грядки в топи не проживёшь. Им нужна была вода, нужен был выход — за рыбой, за зверем, за солью, которую в лесу не берут, а меняют. Он перекрыл выходы и сел.

— Сколько будут сидеть? — спросил он проводника вечером, у костра.

Тот подумал.

— До льда, — сказал он. — По льду уйдут. Лёд встанет — топь не топь, иди куда хочешь.

Джучи посмотрел на небо.

До льда было недели три.

* * *

Они вышли раньше льда, на исходе второй недели, ночью, — не сдаваться, а прорываться: собрали лодки, каких он не углядел, и ударили не в заслон у гати, а вбок, через малую воду, где он не ждал.

Было темно и коротко.

Он ждал этого — не там, так тут, — и держал наготове тех, кто не спал, и когда с края пришёл шум, он был уже на коне. Прорыв смяли у самой воды. В темноте, в камыше, по колено в ледяной жиже дрались недолго и молча, и Джучи был в этом сам, и рубил сам, и это было ему не впервой и не трудно.

К свету кончилось.

Взяли, кого взяли. Положили тех, кто дрался. Род был мал, и мужчин в нём было меньше сотни, и большая часть их легла в ту ночь у воды, потому что вышли драться, а не даваться.

Утром привели остальных — баб, детей, стариков, десяток связанных мужчин, взятых в жиже.

Джучи стоял и смотрел, как их выводят из камыша на сухое.

Он потерял одиннадцать человек. Одиннадцать — за две недели, за прорыв, за глушь, куда завёл тумен. Меньше, чем боялся. Больше, чем стоил этот род.

Проводник стоял рядом.

— Что с ними? — спросил он про связанных.

Джучи смотрел на них.

Их было десять — мокрые, избитые, молчаливые. Они дрались хорошо, они прорывались с умом, они выбрали место, где он не ждал, и не будь у него привычки не спать в последнюю треть ночи — прошли бы. Они были не сброд. Они были воины малого рода, который не захотел кланяться, и они сделали всё, что могли, и не смогли, потому что их было мало.

В степи их взяли бы в войско. Хороших воинов брали к себе — это было в правилах, разбитый враг завтра твой, если он воин.

Но это был лес, и это был род, который не вышел ни к Кудуке, ни к нему, и весь смысл того, что он сюда лез и потерял одиннадцать человек, был в одном: чтобы лесная земля увидела, что не вышедшего берут всё равно, и берут так, чтобы больше не хотелось не выходить.

Если он возьмёт этих десятерых в войско, лес запомнит, что упорство прощают.

Он не мог этого оставить. Ради этого шёл.

— Этих кончить, — сказал он. — Остальных — в полон, раздать по родам, чтоб не собрались вместе. Дома пожечь. Место бросить.

Проводник кивнул.

Джучи отвернулся и пошёл к коню.

Он сделал то, что было надо, — не то, что хотел. Хотел бы взять этих десятерых, они были ему по нраву больше, чем сдавшиеся миром. Но нрав к делу не идёт, а дело было в том, чтобы лес понял: каган сказал всех, и всех значит всех, и упрямому не легче, а тяжелее, чем покорному.

Он спал в ту ночь хорошо.

Он всегда спал хорошо после того, что было надо, — даже когда это было ему не по нутру. Может быть, особенно тогда.

Соколы

Киргизы прислали соколов раньше, чем Джучи дошёл до киргизов.

Их привезли навстречу, к воде, где войско выходило из ойратских лесов, — трое верховых с клетками у сёдел, и в клетках сидели белые кречеты, накрытые клобучками, неподвижные. Старший из троих сказал, что беки Кыргызской земли шлют старшему сыну кагана дар и слово: земля выйдет навстречу и поклонится, воевать земля не хочет.

Джучи принял соколов и понял, что киргизов брать не придётся.

Они посчитали так же, как Кудука: пришёл большой, за большим стоит ещё больший, а у них соболю, олово и лес, и всё это растёт на месте, и терять его в драке незачем, когда можно уступить именем и остаться при своём. Соколы были не подарок — соколы были расчёт, положенный в красивую клетку.

Он оценил и клетку тоже.

Кудука сдался словом на тропе, буднично, по-лесному. Киргизы прислали белых птиц вперёд себя, за неделю пути, — чтобы уступка пришла раньше уступивших и легла нарядно. Это был другой народ, побогаче и потоньше, и говорить с ним надо было иначе, и Джучи это уже видел и уже перестраивался.

Он послал вперёд ответное слово и подарки и пошёл медленно, давая земле время выйти навстречу с честью.

Земля вышла.

Киргизские беки встретили его на своей земле, у слияния двух рек, поклонились кагану через него, дали заложников-родовичей без спора — тут это тоже звалось не заложниками, а честью, — и выставили дань: меха, олово, ловчих птиц, зерно, какого в лесу выше не родилось. Всё прошло чинно, в три дня, без единой стрелы.

Север был взят.

Весь, до последнего рода: лёгкие миром, богатые честью, упрямый — силой. Взят так, чтобы держался, — не пожжён, не разорён, оставлен при своём под рукой кагана. Ровно как велено.

Джучи стоял вечером над двумя реками и был спокоен и полон — тем ровным, тяжёлым удовольствием, какое даёт большое дело, доведённое до конца без потерь.

Он послал за писцом.

* * *

Писца звали Тукур, и был он уйгур, из тех грамотных, что пришли к кагану со своим письмом и остались при бумагах.

Немолодой, сухой, с чернильными пальцами, он пришёл со своим коробом — тростинки, тушь, стопка бумаги, привезённой издалека и оттого хранимой скупой, — сел у огня, разложил и стал ждать, не поднимая глаз, готовый.

Джучи ходил и говорил, Тукур писал.

Джучи говорил, как было: про лес, где конница не идёт; про Кудуку, что вышел без оружия и провёл войско короткой водой, не дав пролиться крови; про то, как ойраты уступили миром и породнились; про род у чёрной воды, что не вышел, и как его брали через топь, и как вышли те на прорыв ночью, вбок, где не ждали, и как их смяли у воды; про киргизов и белых соколов, посланных вперёд.

Он говорил долго и подробно, потому что дело было большое и стоило подробности.

Тукур писал недолго.

Джучи заметил это не сразу, а когда заметил — остановился и посмотрел на бумагу. Строк было мало. Он проговорил на сотню слов, а легло на десять.

— Ты всё записал? — спросил он.

— Всё, что идёт, — сказал Тукур.

— Что значит — что идёт?

Тукур поднял глаза. Они были спокойные, немного усталые, без всякого выражения, кроме готовности объяснить очевидное.

— В донесение идёт, что взято, — сказал он. — Земли лесных народов взяты под руку кагана. Ойраты, роды у воды, киргизы. Один род истреблён за сопротивление. Потерь одиннадцать. Дань такая-то, заложники такие-то, породнение с ойратским домом. Это идёт.

— А короткая вода?

— Короткая вода не идёт.

— Почему? Ею я сберёг тысячу человек.

— Ты сберёг, — сказал Тукур. — Тысячи, которой не было, в донесении нет. В донесении есть одиннадцать, которые были.

Джучи смотрел на него.

— А то, что взял миром? Что не жёг, не разорял? Что земля осталась целой и будет давать соболя? Это идёт?

Тукур подумал — не над ответом, ответ он знал, а над тем, как сказать понятнее.

— «Взято» идёт, — сказал он. — «Как взято» — не идёт. Каган велел взять лесных. Ты взял лесных. Это и стоит: взял. Мирно ли, силой ли — бумага не спрашивает. Спросила бы, если б не взял.

Он опустил глаза обратно к бумаге, показывая, что сказал всё.

Джучи стоял.

Он думал, и мысль была новая и неприятная, как всё новое в последние месяцы. Он два месяца делал дело лучше, чем его можно было сделать: без крови там, где лилась бы кровь, без разорения там, где жгут, без потерь там, где кладут тысячи. Он гордился этим — тихо, для себя, тем довольством хорошо сделанного, которое любил.

А в бумагу шло одно слово: взял.

И одиннадцать погибших. Единственное число за весь поход, которое дошло, — было число потерь. Не сбережённых — потерянных. Сбережённых бумага не знала: их нельзя сосчитать, их не было.

— Стало быть, — сказал он медленно, — если б я положил тысячу, а взял то же самое, — в бумаге стояло бы то же?

— Стояло бы: взято, потеря тысяча, — сказал Тукур. — И «взято» — то же слово.

— И читалось бы одинаково?

Тукур посмотрел на него, и в первый раз в его ровном лице проступило что-то — не сочувствие, а лёгкое удивление, что об этом вообще спрашивают.

— Читал бы — каган, — сказал он. — Как прочтёт, я не знаю. Я пишу, что было. Что было — то, что взято. Остальное, — он повёл сухой ладонью, — остальное в тебе, не в бумаге. Бумага коротка. Она держит дело, а не человека.

Он обмакнул тростинку.

— Диктуй дань, — сказал он. — Дань идёт полностью, до последней шкуры. Тут бумага длинна.

* * *

Джучи диктовал дань, и на дань бумаги ушло вчетверо больше, чем на весь поход.

Соболь, столько-то сороков. Олово, столько-то. Кречеты белые, счётом. Зерно. Заложники поимённо, с родами. Он диктовал, и Тукур писал ровно, охотно, подробно — тут всё шло, тут каждая шкура была вещь, и вещь считалась, и место ей находилось.

Джучи смотрел, как растёт список вещей, рядом с которым весь его поход стоял в одну строку.

Он не был обижен. Он не умел обижаться на устройство вещей, как не умел обижаться на то, что в лесу не ходит конница. Устройство есть устройство: его узнают и с ним считаются. Он узнал вот это — что бумага держит дело, а не человека, — и убрал в себя, к прочему узнанному, рядом с «богатому драться незачем».

Но что-то осталось, помимо убранного.

Осталось, когда Тукур собрал короб и ушёл, а Джучи сидел один у огня с двумя строчками своего похода и четырьмя листами дани, — осталось тихое, неназванное: что есть он, проделавший поход, и есть бумага про поход, и это не одно и то же, и вторая уедет к отцу, а первый останется здесь, и отец прочтёт вторую.

Отец прочтёт: взято. Потерь одиннадцать.

И не прочтёт короткой воды.

Джучи сидел долго и потом убрал и это — не додумав, потому что додумывать было некуда, а спать было пора.

Наутро войско пошло домой, к степи, к отцу, ведя дань и заложников, и в клетках у сёдел покачивались белые кречеты, накрытые клобучками, — единственная часть похода, которая в бумаге была записана вся, до пера.

Возвращение

Отец принял его при всех.

Это Джучи понял ещё на подходе к ставке — что примут при всех, не в шатре с глазу на глаз, а на большом кругу: навстречу выслали, дорогу расчистили, и когда он въезжал с данью и заложниками, с белыми соколами у сёдел, народ стоял по обе стороны, и это было устроено, чтобы видели.

Отец сидел на возвышении, и с ним весь двор.

Джучи спешился, прошёл сколько положено пешим и поклонился, и подвели дань, и толмачи назвали земли, и Тукур — тот же Тукур, приехавший вперёд с бумагой, — прочёл вслух донесение: земли лесных народов взяты под руку кагана, ойраты, роды у воды, киргизы, один род истреблён за сопротивление, потерь одиннадцать, дань такая-то.

Он прочёл коротко, ровно, как писал.

И отец, выслушав короткое, сказал длинно.

Он встал — а вставал он не для всякого, — и сказал, что старший сын взял север, весь, до последнего рода, и взял так, что север теперь стоит под рукой кагана и будет стоять. Что он послал одного, без братьев, в землю, которой не знал никто, — и сын привёл её всю, и привёл целой, не пожжённой, дающей дань и воинов. Что не всякий взял бы лес, где не ходит конница, и не всякий взял бы его так, чтобы взятое держалось.

Он сказал: держится крепко то, что взято с умом.

Он сказал это при всех, глядя на Джучи, и весь круг слышал.

* * *

Это был лучший день его жизни.

Джучи знал это не потом — он знал это тогда, стоя на кругу, в тот самый час: что вот сейчас, вот это, — лучшее, и что так, как сейчас, может больше не быть.

Отец назвал вслух то, чего не назвала бумага.

Всё, что Тукур отказался писать, — что взято миром, что целым, что с умом, что без потерь, каких могло быть тысячи, — всё это отец сказал сам, своим голосом, при дворе. Он прочёл за короткими строками длинное. Он увидел короткую воду, которой не было в донесении. Он один и увидел, потому что он был отец и каган, и ему не нужна была бумага, чтобы понять, чего стоило привести лес целым.

Держится то, что взято с умом.

Джучи стоял и слышал, как отец говорит про него «с умом», и в нём было полно и тепло до самого дна, и он думал одно: вот, значит, доходит. Пусть бумага коротка. Отец длинен. Отец прочёл.

Он был счастлив тем ровным, огромным счастьем, которое бывает, когда тот, чьё слово единственно весит, сказал это слово, — и сказал его прилюдно, чтобы весило вдвойне.

Ни тени не было в тот день. Он потом искал в памяти тень — была ли, не проглядел ли, — и не находил. Не было. Был круг, был отец, вставший ради него, было слово «с умом», и было белое солнце, и соколы, и полночь.

Он запомнил этот день весь, до вечера, и берёг его после, как берегут одну вещь, когда прочие пошли прахом.

* * *

Вечером отец позвал его одного.

В шатре было тихо и почти пусто — двое у входа, больше никого. Отец сидел, и перед ним стояло молоко, и он был уже не каган на кругу, а просто немолодой человек, отец, уставший за день.

— Проси, — сказал он. — Взял хорошо. Проси, что хочешь.

Так делали: за большое дело давали выбрать награду, и брали обычно добычу — коней, скот, людей, оружие, — и всякий знал, что просить, и просил.

Джучи знал, чего хочет, и это было не добыча.

— Дай мне лесных, — сказал он.

Отец поднял бровь.

— Каких лесных?

— Проводников. Тех семерых, что вели меня. И ойратских, кого дал Кудука. И мастеров-лесовиков, кто пойдёт. Мне их к себе.

— Зачем тебе они? Соболя добудешь и без них.

— Не для соболя, — сказал Джучи. — Они знают землю, которой я не знаю. Мне идти на закат после тебя, в земли, каких ещё нет. Там будет не степь. Там будут леса, реки, города — чужое всё. А эти умеют брать чужое миром. Умеют вести по воде, роднить, а не жечь. Мне такие нужны при себе — не на нынешнее дело, на то, что после.

Отец смотрел на него.

Он смотрел долго, и в этом взгляде было то, чего Джучи не разобрал тогда, а разбирал после, годами: отец слушал сына, который просит не сегодняшнего, а завтрашнего, — не коней, а людей под замысел, которого ещё нет, под улус, которого ещё нет, под земли, до которых ещё идти и идти.

— Ты вперёд смотришь, — сказал отец наконец.

— Ты сам велел брать так, чтоб держались, — сказал Джучи. — Чтоб держалось, надо смотреть вперёд. Кто вперёд не смотрит, у того и не держится.

Отец помолчал.

— Бери, — сказал он. — Проводников бери, лесовиков бери, кто пойдёт. — И, помолчав ещё: — Правильно просишь.

И это «правильно просишь» было почти как «знаю, что так» перед походом, и Джучи снова стало полно.

Он вышел из шатра в ночь, и стоял под звёздами, и был так полон за один день — сперва кругом, потом этим тихим «правильно просишь», — что думал: вот и всё, вот и сложилось, вот и увидел отец, какой я, и понял, чего я стою и чего буду стоять.

Он стоял, полный до краёв, и смотрел вперёд, в закат.

Тишина

Пир шёл третий день, и на третий день Джучи услышал.

Пировали по большому — не для него одного, но и для него: север взят, скоро на закат, поводов было много, и три дня резали, пили, боролись, пели, и всё сливалось в один долгий шум, в котором никто уже не помнил, за что пьют в этот раз.

Джучи сидел высоко, где положено старшему сыну, и пил мало.

Он и всегда пил мало — не по зароку, а потому, что не любил в себе того, что делает вино: расслабленной руки, растворённого счёта. Он любил считать, а вино считать мешало, и он держался трезвее прочих и оттого к третьему дню слышал и видел яснее, чем те, кто вокруг.

Здравицы шли по кругу.

Вставали старшие, вставали воеводы, поднимали чаши, называли кагана, называли сыновей, называли дело. Это была не речь — это был чин, обкатанный, и слова в нём стояли всегда те же, в том же порядке, и всякий знал их наперёд: за кагана, за старшего сына, за средних, за младшего, за войско, за победу.

Встал старый Мунлик.

Мунлик был из самых старых — из тех, кто был при отце с начала, с тех времён, о которых не говорили при детях, потому что там было всякое. Ему было под семьдесят, он плохо стоял, и его поднимали под руки, и он держал чашу двумя руками, и по праву старости ему дали сказать перед многими.

Он повёл здравицу, как ведут старики, — длинно, с началом от дедов.

Он назвал кагана. Назвал, откуда пошёл каган, и деда его, и прадеда, — старики любят вести от корня. Потом повёл к нынешнему дню, к сыновьям, к тому, что вот сыновья выросли и берут земли, и старший взял север.

— За старшего сына кагана, — сказал Мунлик. — За... — И остановился.

Остановка была короткая.

Она была такая короткая, что её не заметил никто, — полвдоха, пол-удара сердца, малая заминка старого пьяного человека, ищущего слово. Мунлик тут же и нашёл, и договорил:

— ...за Джучи. За старшего. Пей!

И выпили, и зашумели, и здравица пошла дальше, к средним, и никто ничего не задержал в себе, потому что задерживать было нечего: старик запнулся на имени, с кем не бывает, тем паче в третий день, тем паче в его годы.

Джучи выпил со всеми.

Он выпил, поставил чашу и сидел, и в нём что-то стояло, не проходя, — та самая заминка, пойманная и не отпущенная. Пол-удара сердца. За старшего сына кагана, за... — и провал, и потом имя.

Он сидел и не мог понять, что его держит, потому что держало не оскорбление — оскорбления не было, был чин, была здравица, было его имя, названное с почётом. Держало место паузы.

Она стояла не там, где ищут забытое имя.

Забытое имя ищут, когда имён много и они путаются, — на средних сыновьях, на воеводах, на дальней родне. А тут была здравица за старшего сына кагана — самое твёрдое, что есть, самое первое, имя, которое старик Мунлик знал прежде, чем Джучи родился, знал всю его жизнь, называл сотни раз. На этом имени не запинаятся, ища. На этом имени запинаятся, когда язык на миг отказывается сказать привычное, потому что за привычным на этот самый миг встаёт непривычное.

Джучи сидел и слушал, как шумит пир, и вспоминал.

* * *

Он вспоминал не думая — оно вспоминалось само, как вспоминается счёт, когда его начали.

Он стал перебирать паузы.

Не эту — эта была свежая, за неё он ухватился, а через неё потянулись другие, старые, лежавшие в нём непрочитанными, как лежало непрочитанным «на закат — братья, тебе — лес». Он их не хранил нарочно. Они просто были в нём — мелкие заминки, полувзгляды, обороты чужой речи, — и он ни разу не сводил их вместе, потому что не было повода, а теперь Мунлик дал повод, и они стали сходиться сами.

Прошлым летом. Сговаривались о чьей-то свадьбе, считали родство, и человек, ведший счёт, дойдя до Джучи, на миг сбился — так же, на полудара, — и обошёл, и повёл дальше от братьев.

Давно, в отрочестве. Мальчишки в игре, в ссоре, — и один, злой, начал слово и не сказал, и другие на него шикнули, быстро, испуганно, и игра сломалась, и Джучи тогда не понял, отчего сломалась, и забыл.

Чужие послы, годами. То, как их толмачи, представляя его, чуть медлили — не на титуле, титул говорили гладко, а перед тем, будто сверяясь, точно ли можно сказать «старший сын».

По одному это было ничто. Заминка, сбой, детская ссора, осторожность толмача. Всякое из этого само по себе не значило ничего и объяснялось само собой, тысячей причин.

Вместе это значило одно.

Джучи сидел на пиру, высоко, среди своих, и сводил, и оно сходилось, — не в догадку, догадка была давно, он не был дитя и знал, что знали все: что мать была у меркитов, что её отбивали, что везли обратно долго. Это он знал всю жизнь и держал отдельно, как держат в стороне вещь, которую не берут в руки.

Он свёл наконец то, что не сводил.

Он стал считать месяцы.

Он считал их впервые в жизни — сколько мать была у меркитов, и когда её вернули, и когда родился он, — считал холодно, как считал вёрсты и людей, потому что считать он умел лучше всего и не умел не считать, когда счёт уже начат.

И счёт не сходил в его пользу. Он не сходил и против — он просто не сходил ни в чью, оставался открытым: могло быть так, могло иначе, месяцы ложились впритык, на самой границе, где ничего не докажешь.

Он мог быть сыном своего отца. Он мог не быть.

И никто на свете не знал этого твёрдо — кроме, может быть, матери. А может быть, и мать не знала. А может быть, знала и молчала. И этого — знает ли мать, а если знает, то что, — нельзя было спросить, потому что самый вопрос ставил бы её к позору, а он не ставил её к позору даже в мыслях.

Джучи сидел и держал в руках открытый счёт, который не закроется никогда.

* * *

Он встал из-за огня.

Он встал спокойно, как встают отойти, и никто не обернулся — на третий день пира встают и садятся то и дело. Он прошёл между людьми, вышел из шатра в ночь и стал.

Ночь была холодная, ясная, звёздная — та же, под которой три дня назад он стоял полный до краёв и думал «это начало».

Теперь он стоял под той же ночью и думал не так.

Он не был раздавлен. Он ждал от себя, что будет раздавлен, — а не был. То, что он свёл, было огромно, но оно легло в него не как удар, а как счёт: холодно, ясно, окончательно. Он всегда знал это наполовину и держал в стороне непрочитанным. Теперь прочёл. Легче не стало, но и не рухнуло ничего — рушиться было нечему, потому что дело было сделано давно, до него, и он ничего в нём не мог: ни доказать, ни опровергнуть, ни спросить.

Он стоял и понимал только одно, и это одно было хуже удара, потому что удар проходит, а это нет.

Он понимал, что отныне будет слышать.

Что вот эта заминка Мунлика, которую он ловил сегодня с таким трудом, — теперь он будет ловить её всегда, во всякой чужой речи, во всякой паузе, во всяком полувзгляде, — и будет находить, потому что кто ищет, тот находит, а он теперь будет искать, не сможет не искать. И никогда не отличит, где она есть на деле, а где он сам её вложил.

Отец назвал его вчера «с умом». Это стояло вчера, и Джучи берёт это, — а сегодня рядом с «с умом» встало другое, и он уже не знал, слышал ли отец, говоря «с умом», ту же паузу, что и все, — держал ли и отец, хваля, в стороне непрочитанную вещь.

Вчерашнее не отменилось. Оно стало двойным.

Джучи стоял под звёздами, трезвый, и позади шумел пир, где называли его имя с почётом, и он знал теперь, что до конца дней будет слышать в каждом почёте полудара тишины, и что тишину эту не заткнуть ничем, потому что она не снаружи.

Она была в нём. Он сам её теперь носил.

Он постоял ещё и пошёл обратно к огню — потому что уйти с пира значило бы, что что-то случилось, а случиться ничего не должно было, никто ничего не должен был заметить, и он вернулся, и сел на своё высокое место, и досидел до конца, и пил, как все, и никто в ту ночь не увидел на нём ничего.

Он умел это уже тогда.

Мать

Он пришёл к матери через день, когда пир кончился.

Пришёл днём, при деле — нарочно при деле, чтобы не с глазу на глаз сразу: Борте разбирала привезённое, дань и подарки, откладывала, что кому, и вокруг были женщины, и работа, и было чем занять приход. Он сказал, что зашёл поглядеть на неё перед закатным походом, — и это была правда, только не вся, как всё, что он говорил в последнее время.

Мать была рада.

Она была уже немолода — за пятьдесят, грузная, с лицом широким и спокойным, и в этом лице было то, чего Джучи в себе не находил и всегда в ней любил: покой, стоящий сам по себе, не от того, что всё хорошо, а просто так, по природе. Она отбивалась когда-то от меркитов не покоем — покой пришёл после, с годами, как приходит к тем, кто много вынес и остался, — но теперь он был в ней прочно, и рядом с ней делалось тише.

Она усадила его, велела принести молока, стала расспрашивать про север — не как каган спрашивает, о деле, а как мать: не мёрз ли, не ранен ли, ел ли толком в этом своём лесу.

Джучи отвечал.

Он отвечал и смотрел на неё, и ждал, когда разойдутся женщины, — сам не зная зачем ждёт, потому что не решил ещё ничего, а только чувствовал, что должен побыть с ней вдвоём, без чужих, и что при чужих то, ради чего он пришёл, не может даже стоять в воздухе.

Женщины разошлись понемногу — работа кончилась, разнесли отложенное, и стало пусто.

Они остались вдвоём.

* * *

И вот тут, вдвоём, при молоке, в тишине, он не сказал ничего.

Он сидел напротив матери, и она была близко, и никого не было, и можно было — если вообще было где-то можно, то здесь, сейчас, только тут и только с ней. Он смотрел на неё и держал в себе свой открытый счёт, свои сведённые паузы, свою тишину, — и не открыл рта.

Не оттого, что не смог. Он умел говорить трудное; он говорил отцу правильные тяжёлые вещи, он вёл послов, он приказывал убивать. Язык у него не отнимался.

Он проделал то, что делал всегда, — счёт. Он посчитал вперёд, как посчитал бы дорогу или потери: что будет, если спросить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.